Посреди Красной площади рабочие рыли могилу Ленину.

Могила эта представлялась всем сначала вместительным котлованом. Вокруг ямы постоянно жгли костры, так пытались оттаять почву, намертво скованную морозом. Но Сталин хотел пометить тело вождя не в яму. А в то, что должно было выстроиться над ямой.

В гробницу.

Сталин обдумывал предложение знаменитого еще до революции архитектора Щусева: возвести три объемных каменных куба; один покрупнее, и крыша должны быть ступенчатой, как у вавилонского зиккурата; два других куба поменьше, и в них устроить вход и выход. Так, чтобы народ входил в одни ворота, а выходил в другие.

Сталин приказал привезти на Красную площадь доски. Только из дерева за три дня можно построить гробницу. Камень подождет. Мрамор, гранит, это все потом. Потом!

Морозы сжимали белыми клещами тела людей. Рабочих распорядились обрядить в толстые полушубки и валенки. Дали им в руки ломы, кирки и лопаты. Сначала надо было разворошить, вскрыть, как каменную банку, булыжную мостовую, что помнила князей и царей. Могила, гордились рабочие, мы копаем могилу Владимиру Ильичу! Они сами не понимали, что говорили. Особо хваставшихся вечером, при огнях костров, приходили и забирали. Они не возвращались.

На их место, охлопывая себя на морозе по-ямщицки рукавицами и топоча ногами в мощных валенках, играя в руках лопатами, приходили другие.

Мерзли руки, мерзли ноги. Рабочие плясали у костров на площади, чтобы согреться. Хлопали руками, и голицы на морозе звенели, будто жестяные. Красная Кремлевская стена скалилась красными зубьями. Руки леденели, твердели, ими, прежде живыми руками, можно было рубить дрова, как топорами. Рабочий падал на снег, на камни мостовой, приезжал мотор и увозил утратившего от холода разум, обмороженного человека. Взамен присылали другого.

Рабочие люди кричали бодрые слова другим людям, в военных формах, кто приезжал на Красную площадь на военных грузовиках и холодно и жестко спрашивал, как идет работа. «Как идет горькая наша работа? хорошо! хорошо идет! – кричали военным рабочие, – от горя стынем!» Одного старого рабочего спросил строгий солдат, видя, как старик дышит внутрь рукавицы, напуская изо рта в рукавицу тепло: «Что, задрог, отец? Холодно?» Рабочий мрачно глянул на солдата. «Да, холодно. Жмет мороз. Но на сердце еще холоднее». И снова взялся за кирку, и размахнулся ею, ударил в камни, и от булыжников вверх, в лютую темень, зло полетели яркие, слепящие искры.

Отовсюду раздавался звон лопат и гулко разносился в звонком от мороза воздухе. Звенели о камень кирки. Звенели тяжелые ломы, вгрызаясь в лед и в землю. Земля под домами Москвы обратилась в вечную мерзлоту. Она промерзла, чудилось, до самого огненного ядра. Стала твердой, тверже железа и камня. Рабочие били землю ломами. Ломы сгибались и тупились, ударяя в промерзшую почву. Рабочие садились на корточки и плакали. Курили, согреваясь самокруткой. Держали цигарку в зубах, а над нею держали ладони, ладонями обнимали жалкий табачный огонек. А вокруг бились на морозе костры. Лисьи хвосты огня мотались в черной ночи.

Как ночевали на площади этой, в наспех разбитых палатках, при огне и буржуйках, мало кто помнил.

Ночью из палаток выволакивали за ноги замерзших насмерть.

Потом наступало утро, и надо было опять бить землю ломами и кирками.

И опять реветь от бессилия по-зверьи, по-детски плакать над ней.

Сталин ли приказал, рабочие ли сами додумались развести на Красной площади громадный, величиной с небо, костер? Несли и несли отовсюду, волокли, как покорные черные муравьи, на площадь доски и рейки, палки и слеги, старые телеги, брошенные извозчиками, и бревна от разломанного наспех сруба, – все шло в дело, и все тащилось и складывалось в центре площади. Огонь был разожжен. Занялось пламя, неистовое, как тысячи одновременных криков. Гул пламени был слышен за много кварталов от площади. Никто никогда не видел столь большого костра. Многие думали: загорится Кремль, возьмет и побежит огонь по стене, хотя это было бы страшным и безбожным чудом. Рабочие всерьез думали, что огонь растопит нежданную мерзлоту. А морозы, еще усиливаясь, белые ледяные зубы показывали, хохотали над нищими духом людьми.

Иван тоже тут сновал, между рабочими. Ему, как и всем, выдали тулуп, самый маленький тулупчик отыскали, и все же он был ему велик. И валенки ему были велики. Он таскал их на ногах, как гири, и жаловался бригадиру: ноги мерзнут, воздух в щель меж ногой и валенком

свободно дует. А носков лишних, вязаных, не было. Ему разрешили опять надеть его валеночки-малютки, в них он и приехал в Москву. Он побежал вынуть их из укромного места, из кирпичной ниши в кремлевской стене, там кирпичи были кем-то ловко повытащены, у самой земли, и в кладке образовалось подобие потайной барсучьей норы. Отодвинул кирпич – а там нет ничего. Пустота. Стащили валенки. Ваня шмыгал носом, силился не плакать и только все повторял, громко, чтобы все рабочие слышали: «Да я же кирпичом заложил! Сам заложил! Сам!» Сам с усам, хмыкнул рабочий в волчьем зипуне, на голове у него вместо шапки была наверчена и перемотана проволокой старая дырявая стеганка, а другие тоже угреться хотят. Да ведь они вам всем малы, уже со слезами в голосе кричал Ваня. Ничё, смеялся бригадир, сдвигая ушанку на затылок, ноги вор себе топориком подровняет!

Ветер дышал холодом, раздувал дым костра-чудовища, дым стлался по земле седой кудрявой, вонючей поземкой. Напрасно бесился огонь. Не отогревалась земля. Не хотела принимать мертвеца.

«Лучше бы из золота был он сделан, тогда бы не хоронили», – шептал себе под нос Ванька, еле таская по площади ноги в огромных черных валенках. Из черной овцы валяли; втайне мальчик любовался ими, нравились они ему, и он думал: когда все тут окончится и Ленина закопают, валенки украду, себе возьму и в село привезу. Хвалиться ими сельчанам буду. Шутка ли сказать, на самих похоронах Ленина работал, и харч давали, и всю одежу!

У Сталина и у Политбюро уже не было времени на раздумья. Решать надо было быстро. Команды отдавать – еще быстрее. У них у всех, захвативших власть, было странное чувство: корабль, который они, как пираты, захватили, непрочным оказался, дал течь и тонет, а они все никак не могут заделать пробоину, и только повелительно смотрят друг на друга и кричат друг другу приказы и советы, а то, что должно быть, происходит само, без их на то соизволения.

Сталин велел взрывать землю. По Красной площади рассыпались красные бойцы. Это вызвали саперскую бригаду. Красноармейцы быстро, неуловимо заложили взрывчатку. Взрывы вспыхивали. Короткий гром, еще один, еще один, еще. У окрестных жителей было чувство, что Красная площадь превратилась в поле боя. В воздух, вертикально, и в стороны, над булыжною мостовой, полетели комья мертвой ледяной земли и красные кирпичные осколки: под землею взорвали, видать, старинную, еще княжескую крепостную стену. Иван считал взрывы, считать он умел хорошо, до ста в школе считал; он насчитал сорок залпов. Сорок раз площадь взорвали! Рабочие садились на корточки, сдирали с рук рукавицы и бесчувственными пальцами щупали в яме землю.

После сорокового взрыва бригадир, катая в пальцах мерзлоту, просветлел лицом и крикнул: «Все, шабаш! Мягкая!»

Земля в ту зиму в Москве промерзла в рост человека.

И вгрызались вглубь земли; и поднялись изнутри нее невозможные запахи, так воняет ад, думал Иван; это взрывы обнажили черные нечистоты. А потом сверкнуло в ночи, и чертово электричество мигом убило двух рабочих: это строители гробницы наткнулись лопатами и кирками на подземный кабель. Дерьмо и ток, всюду смерть! Иван стоял на краю бездонной ямы и боялся глянуть вниз. Внизу шевелилась живая гниль, и таился, полз искристый смертный змей. Вонь била в лицо, и Иван, невзирая на мороз, зажмурился, снял шапку и ею прикрыл нос и щеки.

Темечко застывало, обращалось в ком льда.

Убитых током рабочих несли прочь от ямы, и никто не крикнул, не заблажил.

Живо снимали с мертвых валенки, ушанки.

Все делалось молча. В молчанье укутывались, как в бараньи, со свежих мертвецов, тулупы.

* * *

Все боялись ночи.

Ночью мороз становился просто невыносимый.

Рабочие не просили измерить этот мороз термометрами; рабочим было безразлично, какие цифры им назовут ученые люди, что привыкли наблюдать природу через приборы – они прислушивались только к себе, и сами себе отвечали на свой же безмолвный вопрос: «Еще две, три таких ночки – и поляжем мы тут все, задубеем, топорами нас и впрямь будут колоть, как мерзлые дрова». Над копошащимися на площади людьми зажгли мощные прожекторы. Яркие, белые снопы лучей разрезали плотную черноту ночи ножами, ножи схлестывались в черном воздухе, сшибались, потом застывали, и в огромных кругах мертвенного света, что падали на булыжники площади, люди продолжали работать – мрачно и рьяно, молча, лишь время от времени подбегая к пылающим кострам и суя в костер руки, иногда и до волдырей обжигая их: руки стали нечувствительны и к морозу, и к жару. Меж собой калякали: а вы знаете, мужики, Ленина-то не в могилу покладут! Не для могилы мы тут стараемся, надрываемся! А для чего ж тогда? Да вот, племяш мой, он в кремлевском гарнизоне власть охраняет, он разговор подслушал тут один, так главные люди говорят, со всей страны им телеграммы отбивают, что, мол, сохраните да сохраните Ленина для нас для всех, как он есть! Это в каком смысле, как есть? Он же... засмердит хуже Лазаря! Да в таком, понимай как знаешь! Так прямо и пишут: возможность видеть любимого вождя, хотя и недвижимого... дай припомню... а, вот: утешит наше великое горе и даст нам силу и дальше воевать и побеждать! О как! И строчат, прикинь, беспрерывно, со всего Совецкого Союза в Кремль строчат. Да, брат... это серьезно... А как же, наука, што ль, до энтого до всего – уже, знать, достукалась?

Тьма обнимала Кремль, стояла навытяжку по периметру площади. Взмывали рваные красные лоскутья костров. Взвивалась красная вьюга. Сыпались во мрак золотые и алые искры. Беспрерывно горели доски, бревна и все, что могло гореть. Все было в жертву огню. Ноздри людям забивал дым. Ветер швырял в лица рабочих вместе с дымом снег и огонь, и они были для людей равны, оба в кулаках острого, режущего лица ветра. Рабочие то сбивались в густую толпу, толпа изрыгала ругань и смех, то опять черным горохом рассыпались по площади. На морозе звоном раздавался стук топоров. Пилы пели и визжали. Перекрикивались. Ржали лошади, тащили сани, в санях везли доски, бревна, брусья. На огромной, как дом, телеге привезли кучу песка, ссыпали на снег; вот еще и еще медленно ворочались по снегу бесконечные колеса, вот под полозьями скрипел и взвизгивал чистый снег и мгновенно становился грязным. Бревна множество рук тут же складывали в штабеля. Из ноздрей у коней шел густой пар, висел на морозе белыми клубами. Лошади мотали мордами и опять жалобно, призывно ржали. Их гривы и хвосты покрывались толстым слоем голубого инея.

Греться люди бежали в военные палатки: там были установлены печи. Этот странный мальчик, с бледным лицом, в неуклюжих валенках, метался туда-сюда, помогал, тащил то брус, то доску, пытался даже тянуть бревно, но, малый муравей, не сдюживал, бросал на снег. Мальчика подзывали: эй, сюда! тащи! неси! Он бросался со всех ног. Люди забыли, что значит есть, что значит спать. Однако ели, кто что, добывали еду, казалось, из рукава – в пальцах появлялась вареная картофелина, ржаная горбушка с солью, откуда-то мужик нес кастрюлю с кашей, держа обгорелую кастрюлю руками-крючьями в ободранных овечьих рукавицах; передавали друг другу чищеную морковь, и снова и снова – эти хлеба куски, настоящие куски хлеба, и липкие, и с опилками, и подсохшие, и пушистые отломы калачей, и печенные забытыми женами ржаные плюшки, и опять эти черные корки, черствые, – драгоценные, дороже некуда, только нюхнуть, затолкать в рот и заплакать. От слез на морозе становилось всяко-разно горячей.

Землекопы вонзали лопаты в помягчевшую землю на дне глубокой, голова закружится поглядеть, ямы. Приходили комиссары и хрипло, зло кричали плотникам: «Не ждите землекопов! Работайте над каркасом усыпальницы!» Плотники сбивали из длинных досок, из крепкого бруса каркас гробницы на хрустком, визжащем под ногами снегу. Котлован рыли и рыли, и однажды, когда день снова угас и Москву закутала в черный слепой плат слепая вьюжная ночь, настал миг, прозвучал на всю Красную площадь крик, которого так долго ждали: «Готов котлован! Ставь каркас!» Люди хлынули со всех сторон. Дотащили каркас до ямы. Опустили туда. Земля обхватила деревянные ноги и ребра. Рабочие застучали молотками: пошли в ход доски. Каркас превратился в подземную избу. Пахло свежими спилами досок. Бойкий мальчишка вбегал в дощатый саркофаг, выбегал из него и вопил что-то несуразное. Его одернули, он умолк. Бежал и потерял на снегу валенок. Скакал к нему обратно по снегу, поджимая под себя ногу, как журавль на болоте.

Подкатил грузовик, из кузова на снег сгрузили рулоны темной материи. Прямо на снегу, на булыжниках резали ножницами и ножами отрезы. Ванька встал на колени, изумленно рассматривая ткань. Красивая, красная, с черными полосами: мрачно, а здорово! Печальная материя, слезы наворачиваются. Тканью обивали дощатые стены изнутри. Пусть люди стоят внутри, плачут, утирают слезы и глядят на мертвого вождя. Он уже не мертвый будет в этом черно-красном свете; будет гореть тусклая лампа, а может, яркая, электрическая, а может, бедная, керосиновая. Ленин ведь был небогат. Говорят, он ел на газете, пил из щербатой чашки и умывался из гремучего рукомойника. Ничего не надо ему было на этой земле.

А завоевал полземли! Ведь наш Эсэсэсэр – это полземли, правда ведь?

А потом увидели: много ткани осталось, еще и черные отрезы, и красные, и полосатые, – и приказали обить гробницу еще и снаружи.

Гвозди загоняли в мерзлое дерево, молотками стучали. Обили. Любовались, спохватывались: любоваться нельзя! Надо горевать дальше.

Гробница стояла, ее обнимал мороз. Уже стояла, и Ванька рядом стоял и глядел на нее. Он был маленький перед гробницей, а она была деревянная слониха, только что не переступала ногами под красной попоной, толстые ноги ее застыли на морозе и вросли в землю. Деревянная слониха стояла около кремлевской стены и молчала, и Ивану чудилось, она медленно шевелит деревянными ушами, и до самой земли, до по-

крова снега, свисает ее длинный хобот. Морозный туман разошелся, и он разглядел: хобот, это был всего лишь пожарный шланг, его на всякий случай солдаты привезли сюда, ведь столько огня полыхало кругом.

Гробницу затягивало инеем. Внутри у нее уже сгущалось будущее. Будущее это было совсем не светлым, и совсем не счастливым, и не сладким, и не желанным. Такого будущего и желать-то было нельзя. Оно было черно-красным, цвета ада. Зато оно было настоящим. Таким, как оно и было задумано. И рождено.

Да вот беда, никто не знал, кем задумано и кем рождено: тем ли, кого должны были сюда привезти в красном гробу и укрыть сверху двумя красными знаменами, расшитыми золотыми нитями, или еще кем-то, имени которого никто из рабочих не знал, не знали и люди, что командовали ими. А может, это имя не знал и сам Ленин.

Может, только голос слышал: далекий, повелительный. Насмешливый.

Седая от горя и скорби красная стена Кремля высилась перед вымотанными непосильной работой людьми, уходила в заоблачный холод. На досках красноармеец, стоя на высокой лестнице, малевал великое и бессмертное имя: ЛЕНИН, окуная широкий флейц в ведро с черной краской. Он обводил краской деревянные выпуклые буквы. Буквы рабочие выложили из плашек и прибили к высокой доске. Краска быстро застывала на морозе, и боец торопился. Он махал флейцем в морозном туманном воздухе, не вырисовывал красиво, мазал как попадется – спешил. Успел. Рисовал последнюю букву святого имени, а черная краска уже замерзала на глазах, затвердевала черным льдом, бугристым черным гранитом.

## 1932

Красные флаги свисали до полу.

Они укрывали изножье дорогого гроба.

Надя, какое имя сейчас у тебя? Опять Надя? Всегда Надя. Ты пришла сюда против своей воли. Ты не хотела, но пришла. Посмотреть, а может, из-за чего другого? Одна, совсем одна. Тебе открыли беспрекословно – ты жена владыки. Тебя вся Москва знает в лицо, хоть ты стараешься всегда спрятаться, уйти от чужих глаз. Девчоночка Надя! чего тебе надо? ничего не надо, кроме шоколада? Девчоночка Тося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты и успокойся!

...пришла сюда поздно вечером. Попросила Удалова привезти ее в Мавзолей. Удалов разбежался было: давайте, и я с вами пойду! я давно Ильича не видел! – но она резко оборвала его: хочу быть там одна. Одна, зачесал в голове шофер, да ведь мало ли что, я вас там буду охранять! Охранять, от кого, горько спросила она, от красных знамен? Они оживут и обнимут меня красными руками? Удалов захихикал и терся подбородком о воротник пальто. Долго заводил мотор.

Девчоночка Валя заплачет едва ли! Бойко отвечает всё, что не задавали! Девчоночка Люда, тебя бить не буду, коньяком с лимончиком вылечу простуду...

Они долго, почему-то страшно долго, как в другой город, ехали по темным улицам; кое-где горели окна, гордо светили сквозь метелицу фонари, но город обезлюдел, магазины зря пылали витринами, и двери парадных подъездов не хлопали, открываясь и закрываясь. Мир лежал

как в Мавзолее, лежал с закрытыми глазами. Каменные стены, гранитные своды. Москва умерла, и ей надо было отдать подобающие почести. Когда-нибудь нас похоронят с почестями, усмехалась она. Машину дергало вправо, влево. Удалов неистово крутил руль, но почему-то не мог выбраться из круговерти метели, из ее белого лабиринта. Лучи, бьющие из горящих окон, перекрещивались на снегу, и мотор ехал как по золотым шпалам. Скоро ли будет Красная площадь, мертвым голосом спросила Надя, и Удалов растерянно пожал плечами: сам не знаю, где мы плутаем! то ли с машиной что-то, то ли со мной!

Танцевала карапет, поранила пятку! танцевала казачок... а потом вприсядку...

Девчоночка Маша, ах ты радость наша... потеряла портмоне... что за растеряша...

Снег сыпал и сыпал в лобовое стекло. В салоне пьяняще пахло горючим. Темные дома сдвигались, грозя раздавить железную коробку. Наконец освобожденно вырулили на простор, и под колесами всплыла из-под снега благородная, вместо древней мостовой, недавняя брусчатка. Машину чуть подбрасывало на гладких черных камнях. Подкатили ко входу. Надя вышла, обернулась к шоферу: сиди и жди, – хлопнула дверцей.

Боец у входа, с красной повязкой на рукаве, сердито обсмотрел ее с головы до ног. В заячьей шубке с потертым воротником, в наспех наброшенном на плечи козьем платке она гляделась молоденькой крестьянкой, прибывшей из дальней, может, сибирской волости, поглядеть Ильича, да вот припоздала к Мавзолею с вокзала. Охранник рявкнул было: стой! куда! – и выставил вперед винтовку, да Надя шагнула ближе, спустила пуховый платок на плечи, и боец смотрел в ее голое лицо, это лицо уже печатали в газетах. Взял под козырек. Здравия желаю, товарищ Аллилуева! Она молчала и смотрела на солдата. Он смешался. Вы это, что, сюда, что ли?.. так поздно? на ночь глядя? одна? а товарищ Сталин с вами? Я одна, разлепила губы Надя, и товарища Сталина нет со мной. Можно, я войду? Так точно, можно, Надежда...

Раньше были рюмочки, а теперь стаканы. Раньше были мальчики, а теперь нахалы. Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девочки... а теперь... болтушки...

Не дослушав, она прошла мимо упертой прикладом в снег винтовки, другой боец, что стоял перед дверью, быстро открыл замок и распахнул ее. Ее обняла пряная, холодная тишина. Стоящий за ней повернул рубильник, под потолком включился свет, он залил полосы черного камня и красные гладкие, недвижные озера. Угольно-черный лабрадор вспыхивал изнутри яркими синими бликами. Красный гранит сверкал, как море на закате. Если тихо, медленно идти, в каменную воду можно войти. И утонуть.

Она и шла медленно. Один шаг – вся жизнь. Девчоночку Любу поцелую в губы, ты не плюйся мне в лицо, я совсем не грубый. Ты убежала сюда? Ты убежала от своей жизни, чтобы посмотреть на вашу совместную, ту, что приснилась в березовом лесу, в избе той дурочки? Еще шаг. И еще жизнь. Важно бежать, убежать. Никогда не останавливаться. Душа моя, не оглядывайся назад! Кто это сказал, когда, и ей ли, и не она ли – сама себе?

Танцевала карапет, порвала ботинки... Осталися на ногах чулки да резинки... Музыка играет, аж чулки спадают... а подошвы с ботинок собаки таскают...

Красный гранит отсвечивал в лучах прожекторов настоящей кровью. Моря крови, как же это смешно, когда так говорят. Ее всегда смешили эти выражения, море крови, коньяк лился рекой, из грязи в князи. Они все в революцию поднялись из грязи в князи, и путь этот был верным, народу дали свободу – живи или в грязи, в ней и сдохни, или выбирайся оттуда, рвись в небеса! Вот летчик один есть, Иосиф про него рассказывал. В Ленинграде живет. Летает так, что сейчас в стратосферу! А сам родом из села на Волге. Фамилия смешная, то ли Чукалов, то ли Чекалов. Моря крови, моря. Шаг, еще шаг, и так она будет идти целую жизнь. Она убежала от одной жизни, а где другая?

Пройдя морями застывшей ледяной крови, она замерла у саркофага.

Сияние лилось из лица Ленина. Слишком белое, светлое, гладкое, будто резиновое, оно сияло умиротворением и торжеством. Да, он мог праздновать победу. Он победил. Кого? Своего друга? Он на троне. Смерть? Но вот она, царит, и теперь он есть смерть. Он красный царь этого гранитного зала, и черный лабрадор взрывается изнутри новыми звездами, но он этого не видит. И никогда не увидит. Ему все равно.

Надя сделала к мумии еще шаг. Владимир Ильич, шепнула она едва слышно, я к вам пришла. Я сбежала. Нас здесь сейчас никто не увидит. Никто не знает, что я у вас. Дайте мне знак, что вы поняли, что я здесь! Я ничего не боюсь. Я не задрожу. Бога нет, я знаю. Но есть вы! И я...

...стояла, залитая светом прожектора, потом медленно опустилась на колени.

...она уже вставала перед ним на колени, как, когда, разве она теперь вспомнит? Не надо вспоминать.

Закинув голову, она глядела на красный бархат знамен. Когда-нибудь они станут гранитными. А монументы уже шагают по стране; памятников Ленину сейчас так много, не сосчитать. Они сделаны из чего угодно: из бронзы, из мрамора, из стали, из гранита, из крашеного гипса – в нищих селах-деревнях ни о какой бронзовой отливке слыхом не слыхивали, есть только, в кузнях да на конюшнях, дешевый гипс да краска-серебрянка, – из антрацита, из меди, из железа, из нефрита и агата, есть даже выточенные из дерева, и через малое время их источат дожди, снега и ветра, но дерево такое теплое, как живое тело, потрогав его, можно ощутить тепло живой плоти и души, что ушла.

Ты здесь! Душа, ты! Говорили, ты – выдумка. Зачем же тогда мы плачем и любим?!

Ах, девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо: денег и богатых! Денег и так нету, никто не заплатит! Ты осталась где-то, где задаром платья... Музыку играйте... а вы, люди, чуйте... у кого ноги болят – карапет танцуйте...

...она хотела молиться, и ей было смешно и страшно.

...она не умела молиться, ее никто не учил.

Колени холодил гранит. Она стала гранитная, и смешно было думать, что еще недавно она была живая.

Он, вождь, теперь тут навечно. Ты помолись ему, он услышит.

И она стала молиться Ленину, а может, просто разговаривать с ним, как не говорила с ним живым никогда.